

Лиор Хейл

Последний Закат

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Лиор Хейл
Последний закат

«Автор»

2026

Хейл Л.

Последний закат / Л. Хейл — «Автор», 2026

История о ребёнке, который слишком рано столкнулся со смертью и слишком глубоко понял её. О мире, который не умеет беречь тех, кто отличается. О любви, которая приходит не сразу, и о цене, которую приходится платить за попытку спасти тех, кого любишь. Это роман о вине, которую невозможно искупить, и о последнем выборе, который определяет судьбу целой семьи.

© Хейл Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Лиор Хейл

Последний закат

Глава

До встречи с моим отцом мама, Молли Гривс, уже однажды была замужем. Тогда она была почти девочкой — тонкой, хрупкой, с сумочкой через плечо, и вечной спешкой в походке, будто боялась опоздать в собственную судьбу. Жить было нелегко: ее дни проходили за кассой придорожного магазина, где копейки звенели громче надежд. Но она не позволяла себе увянуть — по вечерам ходила на курсы парикмахеров, словно на свидание с будущим, и строила планы, которые могли бы расцвести, если дать им немного света. Но жизнь редко следует прямым линиям.

Джонатан Хорн вошел в ее мир стремительно — как порыв ветра, который распахивает окно, не спрашивая разрешения. Они встретились на шумной вечеринке друзей, где музыка гремела так, будто стены были сделаны из бумаги. Мама говорила, что его смех был как свет — теплый, искренний, такой, что хотелось подставить к нему ладони. Он был старше ее всего на четыре года, но в его походке, в его голосе, в его уверенности было что-то взрослое, надежное, почти незыблемое.

Он учился тогда в Университете Вайоминга, в Ларами — городе, где зимой снег летит горизонтально, а весной пахнет мокрой землей и свободой, такой густой, что ее можно было бы зачерпнуть ладонью.

Когда он закончил учебу, они поженились. Свадьба была скромная, почти домашняя, но мама вспоминала ее так, будто в тот день мир стал мягче, добрее, будто на мгновение перестал сопротивляться.

Почти сразу после церемонии они переехали в Карбон-Каунти — суровый, ветренный край, где небо висит низко, как крышка огромного сундука, а ветер поет в проводах так, будто предупреждает о чем-то. Там земля черная от угля, воздух пахнет железом, а люди ходят с прищуром — от солнца, от пыли, от жизни.

Джонатан устроился оператором промышленного крана — машины такой величины, что она казалась живым существом. Металлический колосс, который шагал по угольному двору, как древний зверь. Его кабина висела высоко над землей, и когда он поднимал ковш, казалось, что он вырывает куски ночи из самой земли.

Через год родился Лукас — мой брат.

Он рос тихим, почти прозрачным ребенком. Почти не говорил, и это тревожило маму так, что она иногда плакала ночами, думая, что сделала что-то не так. Но доктора твердили: «У каждого свое время».

И все же в нем было нечто, что заставляло взрослых замолкать.

Он считал.

Считал так, как другие дети дышат.

Джонатан часто брал его с собой на работу, и там, среди угольной пыли и мужских разговоров, Лукас стал маленьким чудом. В обеденные перерывы рабочие устраивали ему игру: писали на клочках бумаги числа — сначала простые, потом все сложнее. Он еще не говорил, но уже умел писать цифры, коряво, но уверенно. И каждый раз, не поднимая глаз, мгновенно выводил правильный ответ.

Мегамоzg, — говорили рабочие, но в их голосах звучало не веселье, а уважение, почти благоговение.

Но кроме чисел у Лукаса было еще одно странное свойство — он исчезал. Не в смысле пропадал, а уходил туда, куда другие дети не ходили бы даже за руку со взрослым.

Его тянуло туда, где тишина была абсолютной, где мир становился огромным и безмолвным, а человек — маленьким, почти невесомым.

Иногда он уходил в старые, заброшенные постройки угольного резерва — туда, где ржавые балки скрипели от ветра, а полы прогибались под ногами, будто помнили каждого, кто когда-то по ним ходил.

Эти места обходили стороной даже рабочие — слишком много несчастных случаев, слишком много историй, которые рассказывали шепотом. Но Лукас ходил туда, как в храм.

Он мог часами сидеть на бетонной плите, слушая, как ветер гуляет по пустым коридорам, как металлические листы стонут, как будто разговаривают между собой.

Мама вспоминала, что в такие моменты он становился похож на маленького призрака — тихого, внимательного, будто он слышал то, что другим было недоступно.

Он ходил между могилами так спокойно, будто читал книгу. Смерть не пугала его — он смотрел на нее так же, как на числа: внимательно, сосредоточенно, без дрожи.

Мама, когда уже была совсем больна, как-то мне рассказала, что однажды увидела его сидящим у старой, забытой могилы — маленькой, детской. Он сидел тихо, сложив руки на коленях, и смотрел на камень так, будто разговаривал с кем-то.

Когда она позвала его, Лукас поднялся и пошел к ней, не объясняя, что делал.

Он никогда не объяснял.

К восьми годам он заговорил — коротко, по делу, будто каждое слово было драгоценностью, которую нельзя тратить зря. Но его глаза... Мама говорила, что в них было больше смысла, чем в любом разговоре. Глаза зеленые, глубокие, с длинными ресницами, будто подведенные — взгляд, который видел людей насквозь, как рентген.

И еще — он не знал страха.

Совсем.

Он подходил к обрывам, не боясь упасть, уходил бродить один на угольные обвалы. Мир не пугал его — он изучал его, как задачу, которую нужно было решить.

Это качество и стало роковым.

2.

Когда Лукасу исполнилось девять, отец впервые взял его в кабину крана. Лукас сиял — так, как сияют дети, когда им показывают сердце мира. Он гладил ладонью холодные панели, рассматривал кнопки, рычаги, огромные стальные тросы, по которым кран передвигал уголь, словно гигантскую черную реку.

В тот день, во время обеда, вся бригада собралась в сторожке — низком, тесном домике из серого металла, который зимой продувало насквозь, а летом нагревало так, что стены становились горячими, как печь. Мужчины ели молча, уставшие, пахнущие углем и машинным маслом. Лукас, как всегда, ел мало — он был ребенком, который будто жил не телом, а мыслью.

Он вышел наружу.

И увидел лестницу.

Кран возвышался над угольным двором, как металлическая гора. Он был настолько велик, что казалось — если подойти вплотную и поднять голову, можно потерять равновесие от одной только мысли о его высоте.

Лукас взобрался по пожарной лестнице — тонкой, дрожащей от ветра. — и оказался наверху. Там, где обычно стоял только отец. Там, где земля превращалась в далекое, зыбкое пятно. Он подошел к самому краю и сел, свесив ноги в пустоту. Перед ним лежали горы угля — черные, как ночь, и такие же безмолвные.

Первым его заметил коллега отца Рой.

Он выругался, вскочил, побежал.

Через секунду вся бригада выбежала наружу, размахивая руками, крича, пытаясь объяснить мальчику, чтобы он не двигался.

Отец выбежал последним.

Без каски.

Без мыслей.

Только с одним — добежать.

Он кричал Лукасу оставаться на месте. Кричал так, как кричат только те, кто любит сильнее собственной жизни.

Но Лукас поднялся. Стоял на самом краю, тонкий, хрупкий, с развевающимися волосами, будто сам ветер держал его за плечи.

Джонатан бросился вверх по лестнице. Он карабкался быстро, отчаянно, почти бегом — так, как бегут по воде во сне, когда знаешь, что опоздаешь.

И вдруг — оступился.

Звук был короткий.

Сухой.

Как будто ломается ветка.

Он упал мгновенно.

И умер мгновенно — от перелома шейных позвонков.

Лукас закричал — впервые так громко, так пронзительно, что мужчины на земле застыли, будто их ударило током. А потом его тело вытянулось дугой, и начался приступ — тяжелый, страшный, как будто сама земля пыталась удержать его, не дать ему рухнуть вслед за отцом.

Похороны были тяжелыми, как сама угольная земля Карбон-Каунти.

Серое небо, ветер, который рвал одежду, и люди, которые не знали, куда девать руки.

И там, на кладбище, случилось то, что мама вспоминала всю свою жизнь с дрожью.

Мать Джонатана — Тобиан — подбежала к Лукасу и ударила его по лицу.

Сильно.

Со всей болью, которая копилась в ней с того мгновения, когда она узнала о смерти сына.

Ты убийца! Проклятие нашей семьи! — закричала она. — Помни это! Пусть это давит тебя всю жизнь, как давит меня!

Лукас снова упал в судорогах.

Мама прижимала его к себе, закрывая от всех, как будто могла своим телом защитить от мира, который в тот день стал слишком жестоким.

После похорон Лукас замолчал.

Совсем.

Он ходил по дому, как тень, не реагировал на слова, не смотрел в глаза.

Будто вместе с отцом умер и он — только тело осталось, а душа ушла туда, где больше не больно.

Отец был для него богом.

Единственным.

И когда бог умер — мир перестал существовать.

3.

Для моей матери начались самые тяжёлые времена.

Она не могла прокормить себя и ребёнка — маленького Лукаса, замкнувшегося в себе, словно в стеклянной капсуле, придавленного грузом бесконечной вины, которую он не мог ни понять, ни назвать.

Его тело ломало приступами: жестокими, хищными, будто сама болезнь была зверем, вцепившимся в него и не желавшим отпустить.

Каждый новый припадок выворачивал его маленькие мышцы, скручивал жилы, заставлял его выгибаться так, что казалось — вот сейчас он сломается пополам. И в его глазах, перед тем как накатывала судорога, застывал немой ужас — как у человека, который видит приближение волны, способной его утопить.

Лукас чах на глазах.

Почти не ел.

Почти не спал.

Не чувствовал холода.

Не говорил.

Он стал похож на загнанного зверька, который ищет щель, чтобы исчезнуть. И нашёл её — в старом дубовом шкафу.

Шкаф был тяжёлый, тёмный, с узором древесных жил, местами изъеденных жуком. Лукас находил в этих узелках целые миры, в которых можно было спрятаться. Он забирался внутрь, закрывал дверцы изнутри и сворачивался в крошечный комочек — как ракушка, как эмбрион, как тот, кто хочет вернуться туда, где ещё не было боли.

Там, в крошечной темноте, где не было ни звуков, ни света, он чувствовал себя ближе к отцу. Он представлял, что лежит рядом с ним — в одном гробу, под одним камнем, под одной тяжёлой, сырой землёй. И эта мысль приносила ему странное, пугающее облегчение.

Он мог пролежать в шкафу целый день, не шевелясь, не издавая ни звука. Шкаф стал его домом.

Его спасением.

Его клеткой.

И только вечером, когда за окнами угасали последние редкие лучи солнца, мама открывала дверцы и осторожно вытаскивала сына — холодного, как дерево, на котором он спал, и такого хрупкого, что казалось, его можно сломать одним неосторожным движением.

Мама плакала. Плакала тихо, чтобы не напугать его ещё сильнее. Она винила себя — за всё. За смерть мужа. За болезнь сына. За то, что не смогла удержать мир от распада.

Она брала Лукаса за руки и молила его вернуться.

Заговорить.

Посмотреть на неё.

Поверить ей, что он не убийца, не проклятье, не тень, как говорила бабушка Тобиан. Что он — её счастье. Её единственный смысл. Её причина вставать по утрам и бороться с тем, что ломало их обоих.

Через год они покинули Карбон-Каунти. Жить там стало невозможно. Каждый угол, каждый звук, каждый запах напоминал о трагедии: пыльные чёрные краны, пропитанные мазутом; дороги, истоптанные сапогами рабочих; следы шин на угольных горах; и дом, где когда-то было так много света.

Мама с Лукасом переехали в Нью-Джерси.

Она вынуждена была взять вторую работу, чтобы прокормить семью, оплатить счета и лечить сына. И тогда ей пришлось сделать то, что она ненавидела всей душой: отдавать Лукаса в приют на время вечерних смен, чтобы работать в придорожном продуктовом маркете.

В приюте он тоже забирался в шкаф — только там это никого не волновало. Никто не искал его, не звал, не вытаскивал на ночь, не укладывал в тёплую постель. Это было место, где он мог исчезнуть, стать тенью, стать ничем.

А днём мама устроилась техничкой на мебельную фабрику — мыла полы, убирала стружку, протирала станки, на которых мужчины собирали шкафы, столы, кровати. Работа была тяжёлая, грязная, но она держалась за неё, как за спасательный круг.

И именно там, среди запаха лака, древесной пыли и гулких ударов прессов, она впервые увидела моего отца, Джеффри Барнса.

Он работал не простым сборщиком — он был технологом-сборщиком: человеком, который знал каждую деталь, каждую фрезу, каждый винт. Он ходил по цеху уверенно, как по собственному дому, и мог собрать шкаф с закрытыми глазами. Его уважали — за руки, за голову, за спокойствие, которое он приносил с собой.

И с этого началась новая глава.

4.

В приюте над Лукасом издевались.

Мама узнала об этом не от сына.

Однажды, по чистой случайности, она стала свидетелем того, что потом будет вспоминать всю жизнь — с той же болью, с той же виной, будто это случилось вчера.

В тот день она отпросилась у начальства и взяла несколько часов отгула.

У Лукаса был день рождения.

Когда она вошла в холл приюта и протянула руку к дверной ручке, она услышала смех — резкий, злой, слишком громкий для детской комнаты. Потом — глухой, болезненный звук, будто кто-то ударил кого-то. И чей-то голос, шипучий, липкий: «Давай ещё».

Она замерла.

И услышала, как воспитательница, ровно, без единой эмоции, сказала:

Если этот идиот хочет быть мебелью — пускай будет.

Эти слова стали разрешением.

Сигналом.

Дети смеялись над ним.

Толкали в спину.

Шли за ним следом, копируя каждый шаг, каждое движение, превращая его молчание в представление.

Давали затрешины, выкрикивая:

Мебель...

Исчезающий...

Мёртвый мальчик...

Древесный червь...

Они знали, что каждый вечер он прятался в шкафу, и сделали это своей игрой. Они царапали ногтями по дереву, проводили пальцами по поверхности, будто когтями.

Иногда кто-то просовывал в щель бумажку с корявой надписью: «МЕСТО МЁРТВЫХ — В ЗЕМЛЕ» или «ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ С ОТЦОМ». Они бросали эти записки, как проклятия.

Делали это тихо, ядовито — так, как умеют только дети, когда чувствуют чужую слабость и проверяют, насколько глубоко можно ударить.

Лукас не реагировал.

Не оборачивался.

Не ускорял шаг.

Он просто шёл — маленький, худой, молчаливый — и их тени тянулись за ним, как стая.

И именно тогда в нём появилась трещина, которая будет звучать всю его жизнь: чувство, что мир — это место, где тебя не спасут, не защитят, не поймут.

Где ты один.

И должен быть один, чтобы выжить.

Мама ворвалась в комнату.

Она подбежала к сыну, прижала его к себе так крепко, будто хотела закрыть собой весь мир.

И заплакала — тихо, но так, что дрожали руки.

5.

На то время мама уже встречалась с моим отцом — тайно, украдкой, скрываясь от Лукаса.

Она боялась, что для него это станет новым ударом: увидеть рядом с ней другого мужчину — не отца, не того, кого он потерял, не того, чьё место в его сердце было занято болью и виной. Мужчину, который будет держать ее за руку, обнимать в присутствии Лукаса.

Она боялась признаться Джеффри, что Лукас был особенным, не таким, как другие дети.

В те годы особенные дети считались чем-то пугающим, непонятным, почти аномальным.

Она боялась, что он не выдержит ответственности, не проникнется к мальчику, не захочет быть рядом.

Её страхи оказались напрасными.

Когда мама, истощённая ударами судьбы, хрупкая телом, но не духом, рассказала Джеффри о приюте, он был первым, кто уверенно настоял: мальчика нужно забрать.

Срочно.

Навсегда.

Он был старше мамы почти на четырнадцать лет. За плечами — неудачный брак, бездетность, много прожитой боли. Он знал цену счастью. И цену одиночеству.

Когда состоялась их первая встреча с Лукасом, он рассказывал потом, что увидел маленького, тощего, молчаливого мальчика — и в ту же минуту полюбил его так, будто это был его собственный сын.

Его не напугала болезнь Лукаса.

Он сразу начал искать докторов, решения, пути.

Возил мальчика на фермы, чтобы тот прикасался к тёплым бокам лошадей, к живому дыханию, к тому, что не требует слов. Каждое воскресенье он вывозил Лукаса — брал на бейсбол, в кино, в игровые центры. Каждый отпуск — на Сосновые пустоши, где воздух был чист и пропитан ароматом сосновой смолы — тягучим, густым, живым. Она пахла так, будто сам лес дышал в ладони — теплым, терпким дыханием земли. Или на Редбриджские озера, где

вода дрожала от света и была такой прозрачной, что мерцала тысячами крошечных плавников, словно мозаика.

Лукас молчал.

Но иногда, украдкой, смотрел ему прямо в глаза — внимательно, глубоко, будто изучая его изнутри.

Мама ушла с фабрики и перешла в дневную смену в продуктовый маркет.

Жизнь начала налаживаться.

Джеффри взял на себя все расходы — лечение, питание, заботу.

Мама впервые за долгие годы выдохнула полной грудью.

Она похорошела, поправилась, снова начала делать причёски, покупать платья.

Папа говорил, что любил её так, как не любил никого прежде.

И он искренне любил Лукаса.

Они ещё не жили вместе, когда мама поняла, что беременна.

Лукасу только исполнилось двенадцать.

Он видел, как мама менялась — становилась мягче, теплее, женственнее.

Но держал дистанцию.

Он молчал.

Когда Джеффри узнал о беременности, он был счастлив. Он носил маму на руках, не позволял поднимать тяжести, не давал расстраиваться.

И сделал ей предложение.

Мама согласилась.

Оставался разговор с Лукасом.

Когда она сказала ему о предложении, Лукас впервые за долгое время поднял на неё взгляд — острый, пронзительный, будто в груди у него что-то треснуло.

И тихо, но уверенно сказал:

Он мне не отец. Я не хочу, чтобы он жил с нами.

Мама заплакала и призналась, что беременна.

Лукас посмотрел на неё так, будто в его сердце открылась старая, давно не тронутая рана — и снова начала кровоточить.

Утром он просто ушёл.

Тихо.

Без записки.

Без вещей.

Без звука.

Он ушёл туда, где всё началось — к отцу.

6.

Лукас связался с нехорошей компанией.

С неким Терри Клаусом — именем, которое всё чаще всплывало в местных сводках и в радиоэфире.

Они создали свою группировку — на двоих.

Тайпан, как его потом прозвали, негласно объявил себя лидером.

Лукас не возражал. Он предпочитал тень. Даже если основные задачи организовывал мой брат, именно Лукас сумел собрать вокруг них ядро — тот самый крепкий, бандитский костяк.

Промышляли угоном машин.

Но недолго.

Очень скоро зарождающейся группировкой заинтересовались сверху — те самые «старшие», чьи имена в Камдене старались не произносить вслух, как не произносят имя Господа все.

Их внимание привлёк не Клаус, а юный, слишком зрелый для своих лет, молчаливый и остроумный мальчишка — Лукас Хорн.

Переговоры шли через него.

Тщетно Терри Клаус пытался протиснуться в узкие двери к старшим — в их глазах он был лишь на подхвате.

Незаменимым оказался пацан-гений, который в свои двенадцать мог организовать любое дело — чётко, осмысленно, без единого просчёта.

Старшим это было выгодно.

Во-первых, Лукас мыслил по-взрослому и говорил о делах так, будто всю жизнь вращался среди них — он был «свой» по природе, мегамозг, на которого уже можно было возложить серьёзные задачи.

Во-вторых, при всей внутренней зрелости, внешне он оставался тихим, неприметным мальчиком — с нежными чертами лица и ясными, немного грустными глазами. Взглянув в них, никто не мог до конца понять, что творилось внутри его головы и сердца. Он казался обычным ребёнком. С пронизательным, печальным, строгим взглядом — слишком взрослым для детского лица.

Первые месяцы Лукас ещё приходил домой.

Джеффри отчитывал его, грозил запереть, даже выпороть. Когда впервые увидел Лукаса с сигаретой, сорвался, накричал — и дал пощёчину. Потом долго не мог простить себе этого.

Лукас лишь посмотрел на него — прямо, холодно, выпрямившись всем телом — и впервые сказал на чистом, тяжёлом, блатном:

Ещё раз лапу поднимешь — сразу в ящик уедешь.

Под отцом зашаталась земля.

Он любил Лукаса, как сына, даже если боялся назвать его так вслух — зная, что мой брат его не принял.

Так и жили.

Когда я родилась, Лукас, до этого бывавший редким гостем, ушёл окончательно — из дома, из наших жизней.

Навсегда.

Мама ждала его — мучительно, до боли в груди. Но ждала. В полицию идти боялась — за сына боялась. Будто чувствовала, что этим только навредит ему.

Лукас занимался тёмными операциями.

Точнее — их организацией.

С каждым новым делом старшие всё яснее понимали: перед ними не просто мальчик, а редкий ум, способный держать в голове целые схемы, просчитывать риски на ходу и выстраивать операции так, будто он видел будущее. И потому ему поручали всё более тяжёлые, всё более опасные дела — те, что доверяют только тем, кто никогда не ошибается.

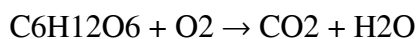
Он начал организовывать перевозку особо ценных грузов.

Планировал долго, скрупулёзно, зашифровывая свои схемы под химические уравнения, где каждый исполнитель был спрятан под элементом, а маршрут — в самом корне формулы.

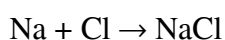
Вот как выглядела одна из его схем, которую мама однажды обнаружила в кармане его куртки, перед тем, как отнести ее в стиральную машину, и сохранила.



(«Железо» — водитель. «Медь» — связной. «Серебро» — наблюдатель.)



(Маршрут: шесть точек, двенадцать минут на переход, нулевая огласка.)



(Слияние групп. Контакт. Передача.)

Возьми полиция такую схему в руки — им понадобился бы такой же гений, как Лукас, чтобы понять, что за каждым элементом скрыт человек, за каждой стрелкой — движение, а за каждым уравнением — преступление, идеально замаскированное под школьную химию.

Мои родители ничего не знали о Лукасе.

А узнать — боялись.

7.

Впервые я увидела брата, когда мы возвращались из Пенсильвании в Нью-Джерси поздним вечером, когда дорога уже начинала утопать в теплой июльской синеве, но все еще было светло. Отмечали мамин день рождения — тихо, по-семейному, почти робко, будто боялись спугнуть хрупкое ощущение семьи, которое держалось на честном слове.

Лукас тогда уже почти исчез из нашей жизни: в свои тринадцать лет он жил, словно ему было двадцать пять. Уходил, возвращался, снова уходил — и каждый раз становился чуть дальше, чуть холоднее, чуть отстраненнее.

Мама боялась обращаться в службы: казалось, стоило только набрать их номер, и его увезли бы в какое-нибудь учреждение, где двери закрываются с глухим металлическим щелчком.

Я была слишком маленькой, чтобы помнить все сама, но память отца стала моими глазами на то время.

Мы остановились на заправке — у папы пробилло шину. Он возился с домкратом, а рядом остановился дальнобойщик: огромный, усталый, с руками, будто выточенными из дуба,

с лицом, обветренным дорогами. Они вдвоем меняли колесо, когда на подъездную дорожку заправки вылетела машина, от которой воздух будто дрогнул.

Додж Випер.

Глубокого синего цвета, как ночное море, белыми полосами, будто следами когтей и откидным верхом.

Машина не просто блистела — она сияла, как драгоценность, случайно оказавшаяся среди серых бензоколонок и пластиковых стаканчиков.

Парень за рулем вышел стремительно, почти бесшумно, и исчез в дверях придорожного кафе.

Отец, забыв про колесо, подошел ближе — заглянуть в салон, вдохнуть запах кожи, прикоснуться взглядом к мечте. Дальнобойщик присоединился, покачал угрюмо головой и, усмехнувшись, сказал, что такие автомобили не для обыкновенных людей.

Это для тех, кто наверху. — сказал он. — Конгрессменов, мэров...людей, у которых мир в кармане.

Мама тоже вышла из машины и взяла меня на руки — я была легкой, как теплый хлебный батончик — и повела в кафе за соком и булочками.

И вот в этот момент дверь распахнулась, и из нее вышел тот самый парень.

Худой.

Невысокий.

Быстрый, как вспышка.

Уверенный в себе.

Он нажал на брелок, и Випер мигнул фарами — игриво, почти насмешливо. Отец застыл. Дальнобойщик тоже. Мама остановилась, будто ее ударило током.

Лукас... — прошептала она, прижимая меня к себе так крепко, будто я могла исчезнуть.

Он поднял глаза.

Взгляд — острый, тревожный, чужой.

Между ними повисло молчание, тяжелое, как гроза, которая вот-вот сорвется.

И потом он просто сел в машину.

Резко.

Быстро.

Не проронив ни слова.

И уехал, оставив за собой клубы пыли, запах бензина и ощущение, что мир треснул по невидимой линии.

Так мы узнали, что у Лукаса появились очень большие деньги. И что у него уже была машина, о которой обычные люди даже не мечтают вслух.

8.

У моего брата были очень неоднозначные отношения со школой. Он был создан не для её узких коридоров, не для её шумных перемен, не для её мелочной дисциплины. Лукас принадлежал миру чисел и реакций, миру, где всё подчинялось строгой логике и тайной красоте. Математика была для него лёгкой разминкой, почти игрой, но истинной страстью — той, что обжигала изнутри, — стала химия.

Он дышал формулами.

Он слышал музыку в таблице Менделеева.

Он мог часами стоять над пробиркой, наблюдая, как рождается новая окраска раствора, будто это был закат, который видит только он.

Лабораторией заведовал мистер Стэнли Эпплгейт — высокий, худощавый, с вечной сутулостью человека, который слишком много лет провёл, склоняясь над микроскопами и колбами. Его большие очки в стальной оправе поблёскивали тусклым светом ламп, и казалось, что за ними живёт не один человек, а целая вселенная мыслей.

Он заметил Лукаса сразу — в первый же сентябрьский день. Не по словам, не по поведению — по взгляду. По тому, как мальчик смотрел на доску, на формулы, на таблицу растворимости: не как ученик, а как наследник, которому наконец-то показали его собственное королевство.

Ученики младших классов в лабораторию не допускались — «в целях безопасности», «по регламенту», «по возрасту». Но для Лукаса сделали исключение. Эпплгейт настоял. Он говорил с директором тихо, но так, что спорить было невозможно.

И с тех пор Лукас стал его тенью — или, скорее, его отражением. Они работали рядом, как два учёных, разделённые лишь возрастом, но не уровнем понимания.

Между ними существовала связь, которую никто не мог объяснить.

Не дружба — слишком разный возраст.

Не наставничество — слишком равные умы.

Не отцовская забота — Эпплгейт был слишком сдержан, слишком сух.

Но когда Лукас входил в лабораторию, учитель поднимал голову так, будто в комнату вошёл человек, которого он ждал всю жизнь. А когда Лукас молча протягивал ему тетрадь с расчётами, Эпплгейт принимал её с осторожностью, с тем благоговением, с каким берет в руки редкую рукопись.

Они почти не разговаривали. Но их молчание было насыщеннее любого диалога.

Мистер Эпплгейт хотел написать рекомендательное письмо в Университет Пенсильвании, в Филадельфии — один из старейших и сильнейших научных центров страны, где кафедры химии и прикладной математики считались легендарными.

Он говорил Лукасу, что с его головой он мог бы:

проектировать ракеты для NASA,

разрабатывать новые материалы для аэрокосмической промышленности,

стать профессором теоретической химии,

или даже — он говорил это шёпотом — открыть собственную научную школу.

И каждый раз, когда он произносил это, в глазах Лукаса вспыхивала искра — маленькая, почти незаметная, но такая яркая, что Эпплгейт чувствовал её физически, как тепло.

Старая лаборатория была ветхой, почти заброшенной. Потолок местами осыпался, линолеум вздулся, шкафы пахли сыростью. Оборудование — древнее, как музейные экспонаты: потрескавшиеся пробирки, ржавые штативы, весы, которые показывали разный результат в зависимости от настроения.

Но Лукас любил её такой — как любят старый дом, в котором слышны шаги прошлого.

Когда у него появились большие деньги — грязные, опасные, тeneвые, о которых мать боялась даже думать, — он решил преобразить лабораторию. Он придумал историю о дяде — профессоре физики из Университета Мичигана, из города Энн-Арбор, заведующем кафедрой и председателе городского совета меценатов.

Школа проглотила эту легенду без тени сомнения.

Когда грузовики подъехали к школе, учителя вышли на улицу и застыли. Коробки были огромные, тяжёлые, с маркировкой ведущих научных фирм:

современные спектрофотометры,

электронные микроскопы,
ламинарные боксы,
центрифуги последнего поколения,
датчики температуры и давления,
компьютеризированные реакционные станции,
наборы для хроматографии,
целые комплекты лабораторной мебели из нержавеющей стали.

Мистер Эпплгейт стоял, держась за дверной косяк, будто боялся упасть.

Это же... это же стоит тысячи и тысячи долларов, Лукас... Как меценат выделил такую сумму для простой районной школы?

Лукас ответил спокойно, почти равнодушно:

У него были свободные фонды. Он давно хотел поддержать молодые таланты. Я лишь стал поводом.

И Эпплгейт поверил.

Потому что хотел верить.

Да, школа могла подать заявление в полицию — если ущерб был нанесён имуществу школы. Но директор понимал: если они подадут заявление, всплывут вопросы о происхождении денег, о «дяде», о странных пожертвованиях. Им это было не нужно.

И Эпплгейт — тихий, незаметный, но железный — настоял. Он говорил с директором долго, тяжело, с болью в голосе, которую слышали только стены.

Он добился:

отказа от заявления,

отказа от компенсации ущерба,

и письма с блестящей характеристикой, подписанной всеми учителями.

Он защищал Лукаса так, как защищают единственного сына.

После взрыва Эпплгейт постарел на десять лет. Он ходил по коридорам, как человек, потерявший часть себя. Он винил себя — за то, что не доглядел, не остановил, не понял вовремя.

На заседаниях суда он сидел в первом ряду, сжимая в руках старый блокнот Лукаса — тот, где мальчик впервые написал свои формулы.

Когда судья зачитывал вердикт, Эпплгейт закрыл глаза. Ему казалось, что каждое слово — это удар по его собственному сердцу.

После суда он долго болел.

Не телом — душой.

Он приходил в лабораторию, садился на стул Лукаса и смотрел на пустой стол, как на могилу.

Он любил этого мальчика. Любил так, как любят редкий талант, как любят свет, который вдруг погас.

9.

Школа горела.

Всё правое крыло было охвачено огнём — пожар вспыхнул после взрыва самодельного детонационного механизма.

Мама возвращалась домой, когда увидела издали языки пламени, пожирающие здание средней школы Сент-Марленс. В груди у неё что-то болезненно кольнуло — будто сердце заранее знало: это связано с Лукасом.

Город наполнился воем сирен — пожарных, полицейских, скорой помощи. Воздух стал едким, густым, пропитанным дымом и пеплом, падающим с неба, как чёрный снег.

Когда мама подъехала к дому, ещё не успев ступить на порог, соседи выбежали к ней навстречу: Лукаса увезли в госпиталь — сильная кровопотеря, глубокие порезы вен, запястий, рук, до самого предплечья.

Мама побледнела.

Ощущение беды стало почти осязаемым, как холодная рука на плечах. Значит, и пожар был связан с её сыном.

«Хоть бы только живой ... остальное можно поправить», - повторялось в её голове, как молитва.

Не заходя в дом, она выбежала на дорогу и поймала первую попутку до госпиталя Камден-Хейвен, куда увезли Лукаса.

В больнице её не пустили сразу. Лукас находился в реанимации хирургического корпуса. Коридоры были полны суеты — медсёстры, врачи, носилки, запах антисептика, гул голосов.

Оказалось, что вместе с ним был госпитализирован и школьный сторож — ожоги первой и второй степени. Несчастливый день, несчастливое дежурство.

В коридоре мама увидела полицейских, разговаривающих с хирургом, который оперировал Лукаса.

Она подошла, едва держась на ногах:

Я его мать ... моего сына привезли несколько часов назад ... как он?

Офицер посмотрел на неё серьёзно, почти с жалостью:

Вы — мать Лукаса Хорна? У вашего сына, помимо ран, тяжёлая передозировка наркотическим веществом. Мы делаем всё возможное, мэ.

У мамы подкосились ноги.

Полицейские подхватили её и усадили на мягкий диван в зале ожидания. Медсёстры окружили её, кто-то принёс воду, кто-то держал за руку. В это время прибыл и мой отец.

Узнав о трагедии, он забрал меня из яслей и отвёз к своей сестре Энн в маленький городок Ривер-Хилл, неподалёку от Камдена.

Голова раскалывалась от вопросов.

Но ответы оказались хуже любого кошмара.

Лукас, невменяемый, с расширенными зрачками и бешеными глазами, держал в руках настоящую бомбу — обмотанную проволокой, со свечами, которые мама берегла для моего торта. Он подбежал к главному холлу школы и попытался ворваться внутрь, но сторож успел запереть центральные двери на щеколду.

Разъярённый, Лукас поджёг детонационный фитиль.

Когда он понял, что внутрь не попасть, он разбежался и со всей силы швырнул бомбу в окно правого крыла, которое всегда было чуть приоткрыто.

Стекло разлетелось.

Секунды.

Взрыв — мощный, оглушающий, будто началась война.

Сторож, услышав взрыв и почувствовав гарь, вызвал пожарных и полицию, затем попытался выбраться через главный вход. Но Лукас подставил под дверь доску, заблокировав выход, и закричал, остервенело, до хрипоты:

Я тебя сотру, сука чернозадая!

Сторож побежал к чёрному выходу, пробираясь сквозь дым и огонь, и получил ожоги. Выбравшись наружу, он потерял сознание.

Лукас же, обезумев, начал бить кулаками по стеклу дверей.

Стекло не выдержало.

Острые осколки изрезали ему руки, вены, предплечья. Он продолжал, пока не потерял слишком много крови и не рухнул на лестницу у входа.

Так его и нашли медики.

Полиция обнаружила неподалёку его сумку — тетради, формулы, схемы бомбы.

В кармане — пакет с кокаином.

Почти четыре грамма.

Лукасу грозила тюрьма.

Пока он лежал в реанимации, отец и инспектор по делам несовершеннолетних мистер Райт уже искали адвоката.

Мистер Райт был не просто инспектором по делам несовершеннолетних. Он был папиным другом, однокашником со школьной скамьи, человеком, который знал нашу семью слишком давно, чтобы оставаться равнодушным. И потому он помогал не по долгу службы — по долгу сердца.

Срок мог быть огромным: незаконное хранение наркотических средств, угроза убийством по расовым мотивам, умышленное причинение увечий легкой и средней тяжести, незаконное изготовление взрывного устройства и его использование, ущерб государственному имуществу.

Отец взял кредиты, заложил дом, продал отчий дом, разделив деньги с сестрой, и нашёл самого дерзкого адвоката во всём Нью-Джерси.

Когда Лукас пришёл в себя, он ничего не помнил.

Он был слаб, почти прозрачный, с синими губами, тонкими запястьями, забинтованными до локтей. Даже шея была испещрена заживающими ранами. Только взгляд оставался прежним — глубоким, пронзительным.

Через несколько дней маме позвонила женщина — кричала, возмущалась. Мама плакала, умоляла о встрече. В конце концов та согласилась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.